

Аркадий Штейнберг: «Я вижу взморье...»

Выдающийся русский поэт, переводчик, художник Аркадий Акимович Штейнберг (29 ноября / 11 декабря 1907, Одесса, – 7 августа 1984, село Юминское Калининской области) родился в семье врача. Его отец Аким Петрович имел левые взгляды, находился под надзором полиции. При этом был весьма известным в городе врачом. Семья – иудейского вероисповедания, однако в доме праздновались три Пасхи: еврейская, православная, католическая (гувернантка Виктория Цурик была австриячкой). Учился в Одесском реальном училище св. Павла. Играть на скрипке обучался у самого Столярского.

Школу оканчивал в Москве. Тут же пошел во ВХУТЕМАС. Но потом перебрался в Одессу и поступил в Одесский институт изобразительных искусств, проучился два года и опять вернулся в Москву. В связи с реорганизацией ВХУТЕМАСа остался без диплома. Из арт-учителей Штейнберга самый известный – Константин Юон.

Первый учитель в поэзии – Эдуард Багрицкий. В 30-е годы Штейнберг образовал с Семеном Липкиным, Марией Петровых и Арсением Тарковским группу «Квадрига». Благодаря знакомству с редактором отдела творчества народов СССР Гослитиздата Георгием Шенгели занялся переводами.

Дважды сидел – в конце 30-х и в 40-50-е годы, в общей сложности 11 лет. Участник Великой Отечественной войны, майор, однополчанин будущего генсека Леонида Брежнева. После войны первым обосновался в Тарусе (Калужская область). По его совету здесь осел Константин Паустовский и многие другие деятели культуры. Стоял у истоков знаменитого сборника «Тарусские страницы» (1961). Издать собственный поэтический сборник при жизни не удалось, поскольку отказался коверкать по цензурным соображениям поэму «К верховьям» (1963–67). Глав-



ный труд как переводчика – поэма Джона Мильтона «Потерянный рай», вышедшая в Библиотеке всемирной литературы.

Был трижды женат. От первого брака – сын Ясень. От второго – Борух и Эдуард. Эдуард Штейнберг (1937-2012) стал знаменитым художником, одним из ярчайших представителей «Второй волны русского авангарда». Аркадий Акимович оказал большое влияние на становление художников-нонконформистов 60-х.

Последние двадцать лет жизни его жена – Наталья Штейнберг (в девичестве – Тимофеева), лингвист, поэтесса. Свидетелями на их свадьбе были Евгений и Наталья Рейн (сокурсница Тимофеевой).

Взморье

Вот скопище первоначальных крох,
Правдоподобных, как сухой горох.
Здесь прозябает, кожные покровы,
Как брачные одежды, разметав,
Материи отчетливый состав,
Земной пупок набухший и багровый.

Вот, поглядите, явные следы
Слоистого строения слюды.
А вот естественные водоемы –
Как полные оконные проемы,
И лишь местами ветры намели
Какие-то мясистые растенья
На лобные места деторожденья
Всеобщей нашей матери – Земли.

Наглядный мир! Ты каждую щепотью
Соперничал с одушевленной плотью.
Но помню, что незыблемей всего
Вот это двойственное вещество,
Зовущееся морем, за пригорком
Оно грустит в своем покое горьком:
Кто б мог его от жизни развязать?..
Оно лежит внушительно и шатко,
Большое, старое, – ни дать ни взять,
Забытая футбольная площадка.

Но камень тверд, а небосвод высок.
Под башмаком, как снег, хрустит песок,
Чрево вещательски бормочут сланцы
И стонут раковины, как шотландцы.
Я вижу взморье. Брошенный баркас,
Как лошадиный труп: его каркас
Утыкан ребрами. Немного дальше
Исполненная драгоценной фальши,
Раздетая, как ангел, догола,
Уставилась увечная скала.

Там женщина с базальтовым затылком,
Вся в сумерках, стоит над рубежом,
И голени, подобные бутылкам,
В которых опускается боржом,
Гудят от холода, и злые веки
От холода расширены навеки.



Она стоит – привольный истукан,
Вкушая снедь на соляной твердыне.
Пред нею лопается, как стакан,
Седое море, полное гордыни,
Пред ней висит, как призрак бытия,
Горящий край небесной плащаницы
И, влажное дыханье затая,
Летают рыбы, как снопы пшеницы.

Я вижу хижину. Темным-темно.
Уже созвездия, как домино,
Приучены к игорному порядку.
Я вижу хижину, сухую прядку
Ее волос, глубокое окно,
Очерченное фонарем, я вижу
Расплесканную световую жижу,
Кривую дверь, готовую проклясть
Вошедшего, условное окружье
Забора, желтого от седины,
Да ворох весел, бдящих у стены,
Как таитянское оружие.

Но где же бороздители морей,
Где сыновья и внуки рыбаей,
Где силачи в брезентовых одеждах?
Плывут они в слабеющих волнах,
Иль, может быть, на чистых простынях
Лежат враспяжку с лептами на веждах?
Нет-нет! Я вижу в темноте двоих,
Смолящих запрокинутое днище,
Они поют среди трудов своих,
Как пел тогда генисаретский нищий.

Приятные мужские голоса
Зовут луну, – и, словно розга, вскоре
Небесно-голубая полоса
Пересекла загадочное море.
Рыбак, по возрасту еще школяр,
Глядит на нежный перпендикуляр.
Он перелистывает, как решебник,
Волну, волну... Ответа нет как нет,
Лишь на волнах играет беглый свет –
То забавляется луна-волшебник.

И юноша, мечтательный простак,
Готов бежать за уходящим валом.
Но вот уже к черно-зеленым скалам
Причаливает лодка «Рудзутак»,
И, выжимая воду сапогами,
Идут кормильцы на глухой песок.
Они во мраке кажутся богами,
Создавшими и запад, и восток.

А там, вверху, у стертого порога
Здоровый пес коричневых мастей
Разлегся, как индейская пирога,
И молча ждет владельцев и гостей.
На кухне, средь хозяйственного скарба,
Густеет чад: рыбачка жарит карпа.

Он повернулся на бок: ах, злодей!
И лысый Ленин с календарной датой,
Прищурившись, глядит как завсегдатай,
Как верный друг животных и людей.

Закрыв глаза, я вижу каждый атом,
Я вижу царственное вещество.
Мне море кажется денатуратом,
А эти люди – пламенем его.
Девятый вал, на берег набегая,
Спешит назад, за ним волна другая.
Всему конец – прогулке, темноте.
Земля не та и небеса не те.

Я ж снова мальчик с карими глазами,
Играю лодками и парусами,
Играю камешками и судьбой,
Летучей рифмой и самим собой.

1932

Пожарище

Я вижу город детства моего,
И мне не надо больше ничего.
Доходный дом, в котором я родился,
Домовый двор, которым я гордился*,
Гнилого неба маленький кусок,
Печной трубы опухшее колено
И дерево – рогатое полено
Уткнувшееся головой в песок.

Я вижу город, где меня встречали
Былой любви восторги и печали.

* Одесса, ул. Канатная, 62.

Я вижу пыль его дрянных садов,
Я вижу гавань, полную судов,
Окраины, заставы и задворки,
Органчики, бумажные цветы,
Плеск поцелуев, запах дынной корки
И женский смех на грани темноты.

Здесь я мечтал в мансарде заповедной,
Здесь я кичился нищетой наследной.
Я жил один. Мне было все равно.
По вечерам я отворял окно
На море крыш, на тлеющие гребни
Кирпичных гор, на городской предел,
И я не знал, что может быть волшебней
Живого сна, который мной владел.
Передо мной дымились пирамиды
И подымались сомкнутой стеной
Висячие сады Семирамиды,
Учебники науки жестяной.

И я зубрил наглядные уроки:
Глубокий двор и горизонт широкий.
Подмяв локтями гипсовый карниз,
Я до отказа наклонялся вниз,
В бродило тьмы, где золотой калачик
Изображал насущный хлеб людской
И голоса трудолюбивых прачек
Переполнялись подлинной тоской.
Я совершал далекие прогулки,
Торчал часами в каждом переулке.
Облюбовав какой-нибудь фасад,
Я голову закидывал назад,
Потом кидался со всего размаху,
Как на арену – головой вперед,
Под бутафорский купол у ворот,
Похожий на черкесскую папаху.

Кого искал я? Что меня влекло
На лестницу, обитую железом?
Она, как орудийное жерло,
Вела мой шаг по винтовым нарезам.
Я подымался и, не чуя ног,
Дрожащим пальцем нажимал звонок.
Дверь отворялась. Легкие воланы
За ней мерцали, белизной дразня.
Но этот рай постылый и желанный
Дыханьем лжи окаменил меня.
И тени, что слетались к изголовью
Благословить двойных объятий плен,
Глухие просьбы, шепот клятв «I love you» –
«Ich liebe dich...»
Все это прах и тлен.
Я строил храмы, опьяненный зодчий,
И вот – лежат в развалинах, в пыли,
У ног моих... Бессовестные ночи!
Они меня вокруг пальца обвели!

И снова ночь – коварна и тениста.
Все затопила смоляная тьма.
Подобно книгам в лавке букиниста,
На мостовой валяются дома,
И между ними, в каждом промежутке,
Где гаснет даже месяц молодой,
Таятся опечатанные будки
С гремучей газированной водой.
Я шествую по улице пустынной,
Сжав кулаки, поросшие щетиной,
И вижу город моего стыда:
Он был, он есть, он будет навсегда,
Как узелок, завязанный на память,
Как след происхожденья моего,
Я не могу его переупрямить,
И мне не надо больше ничего.

Пусть он сгорит со всеми потрохами –
Доходный дом, где я грешил стишками,
Домовый двор, наполненный трухой,
Вся эта гниль, весь этот скарб сухой.
Чумные стены, дыры и заплаты,
Заборов угловатые края...
Пуускай сгорят лачуги и палаты,
А заодно и молодость моя!

Беспечной спичкой, праздничным огарком
Ему судьба, как пальцем, погрозит,
Назло громоотводам и флюгаркам
Негаданная молния сразит.
Иль, может быть, играющие дети,
Куря табак в заброшенном клозете,
Затеют бой, свернув газетный жгут,
И незаметно город подожгут...

Быть может, ночью мне поможет случай,
Слепой зарей иль на исходе дня:
Из всех щелей прорвется дым колючий,
И вспыхнет эпидемия огня.
Под хлопанье простынь и полотенец,
Развешанных на гулких чердаках,
Проснется в зыбке розовый младенец
С египетскими змеями в руках.

Он кажется подростком безбородым,
Он слишком юн, чтоб довершить свой суд.
Но небеса подушку с кислородом
К его губам, как соску, поднесут.
Теперь огонь мужает с каждым часом,
Он ширится, он обрастает мясом,
Бодает стены козлорогим лбом,
Мурлычет, изгибается горбом...
Гори, гори, мой город обреченный,
Летучим пеплом прыгай по волнам!

Пускай твои беспомощные стоны
О мужестве напоминают нам.

Когда ж, сраженный солнечным ударом,
Весь в пламени умрет последний дом,
На черепках, на пепелище старом
Мы новый город за ночь возведем.
Из гекатомбы переулков тесных
Он вырастет, как дерево, живой,
Дыша грозой, касаясь туч небесных
Своей неукротимой головой.

1932

* * *

Я видел Море Черное во сне,
Как сирота под старость видит маму.
Оно большой рекой приснилось мне,
Похожей на Печору или Каму.

Вдоль берегов распаханной земли
Влеклась вода, краями небо тронув,
И желтые и белые цвели
Кувшинки на поверхности затонов.

Но это было море предо мной,
Зажатое меж берегов покатых!
Знакомый запах – йодный, смоляной –
Шел от него, и паруса в заплатах –

Лохмотья нищей юности моей, –
Бросая вызов сумраку ночному,
Средь укрошенных временем зыбей
Ловили ветер так не по-речному!

И каждый вздох, и каждая волна
Утраченное сердце воплощали,
И все равно – пресна иль солона,
Но эта влага, полная печали,

Воистину была водой морской,
Вернувшейся к истокам отдаленным,
Чтобы присниться мне большой рекой,
Полузабытым материнским лоном.

1935

Два стихотворения

1

Идет купаться портовой рабочий,
Расстегивает куртку на ходу.
Тем временем вода теплеет к ночи,
И трубы спорят в городском саду.

Вода стара. Бесчисленные зори,
Как сгустки крови, запеклись на ней,
И мутный сбитень, полный инфузорий,
Становится с годами солоней.

И нет ему ни края, ни предела.
И зря маяк моргает вдалеке, –
Все стерлось: берег, жилистое тело,
Замасленная роба на песке.

Высоко в небо вымахнули сосны,
Уходят музыканты на покой,
И ледящий отсвет купоросный
Играет на поверхности морской.

2

Я, как слепец, иду на ощупь к цели,
Я чую звуки, осязаю цвет,
Но вечно лжет искусство...

Неужели

Для внешней жизни воплощенья нет?

И все, что мне являет ночь немая,
О чем бормочут суша и вода,
Я буду чувствовать, не понимая,
Любить всегда, но ведать – никогда?

1936

Наталья Штейнберг: «Аркадий Штейнберг должен вернуться в родной город»

– В воспоминаниях об Аркадии Акимовиче часто говорят о его «одесскости». Внешность, разговор, шутки, словечки, любовь к воде, лодкам, рыбалке. Как вам кажется, насколько много было в нем одесского?

– Очень много одесского колорита, всегда смеялся, шутил. Много юмора, несмотря на тяжелую жизнь – два тюремных срока. И жизнерадостность никогда его не покидала... А вот акцента не было. Чистая, хорошая русская речь. Встречались и слова, которые давно не употребляются. Он регулярно читал старинные словари, Даля. Аркадий Акимович считал, что это очень важно для поэта, для переводчика.

– Как часто Штейнберг вспоминал об Одессе?

– Всегда с увлечением рассказывал об этом городе, полном талантов. С любовью, с юмором – как о городе своего детства. Вспоминал об отце Акиме Петровиче, уважаемом, весьма образованном человеке. И хотя тот был какое-то время в первой ленинской организации «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», состоял под надзором полиции, это ему не мешало быть преуспевающим врачом.

- Кто из одесситов был ближайшим другом Аркадия Акимовича?

- Конечно, Семен Израилевич Липкин. Большая дружба с юных одесских лет. А когда тот познакомился с Инной Лиснянской, этот роман проходил у нас на глазах. Часто бывали у них в гостях – в доме у метро «Аэропорт». Липкин называл меня... «абоил медхен», что на идише означает «славная девушка». А Лиснянская все время читала свои стихи. (Она и сейчас много пишет. С удовольствием читаю ее в толстых журналах.) Вспоминал, как они с Липкиным ходили к Мандельштаму, и тот обозвал их графоманами.

- А Багрицкий, другие авторы из Одессы?

- Он в молодости переводил стихи вместе с Багрицким. Тот был уже сильно болен, страдал одышкой. Поэтому осталось воспоминание как о человеке, который все время сидит на кровати, никуда не ходит. И вокруг вечно толпа людей – друзей, учеников, поклонников... Не любил Катаева. Штейнберга как зэка настораживали темные слухи, которые ходили вокруг этого писателя... Очень смеялся над Анной Ахматовой. Особенно над ее утверждением, что родилась в Одессе. Аркадий Акимович повторял, что на самом деле она родилась на Фонтане. Тогда это был не город, а пригород, глубоко местечковая местность. Как-то, когда Штейнберг с ней общался, Ахматова посмотрела на него величественным взглядом, взором светской львицы: «Я вам прочту свое стихотворение...». Штейнберг мгновенно отреагировал: «Анна Андреевна, спасибо! Теперь-то я понимаю, зачем сегодня утром проснулся». Интересно говорил о другом поэте (правда, уже не одесском) – Евгении Евтушенко. Считал его хорошим человеком, который охотно помогает больным людям – привозит дефицитные по тем временам лекарства из-за рубежа. Уважал Евтушенко за поэму «Бабий Яр».

- Знаменитый переводчик итальянской поэзии Евгений Солонович вспоминал Штейнберга, с восторгом читающего гениальные, как тот считал, ранние стихи Павла Тычины...

- Да, Аркадий Акимович прекрасно знал украинский язык. Помню, и Сименону читал в украинском переводе. Благодаря этому ему легко было выучить польский язык. Клал рядом книгу на украинском и ее же – на польском. Сличал тексты – осваивал



новый язык. Потом много переводил поляков – Тувима, Галчинского, Лесьмяна.

– **Много ли он языков освоил?**

– Знал английский, немецкий (в Одессе окончил реальное училище Св. Павла, где многие предметы преподавались на немецком), румынский, украинский, польский. Конечно, идиш. Знал языки еще французский, сербохорватский, старославянский. С других языков переводил по подстрочнику. Но и это делал прекрасно. Китаисты просто восхищались его переложениями Ван Вэя – великого китайского поэта эпохи Тан (VIII век).

– **В поздние годы у него были такие пронзительные строки об одесском детстве, «полузабытом материнском лоне»: «Я видел море Черное во сне, как сирота под старость видит маму...». При такой любви, почему же он не ездил в Одессу? Неужели среднерусская природа, русские реки заменили ему Черное море?**

– Вы знаете, во многом – да. Он очень любил русскую деревню. И его в деревнях любили, уважали. Любил топить печку. Любил работать руками (есть такое старое слово – рукомёсла). Среднерусская действительность стала для него родной.

– Как и для Паустовского. Они ведь дружили...

– Да. И в Тарусе, за «101-м километром», Аркадий Акимович первый поселился. А уж потом убедил Константина Георгиевича остановиться там. Даже помогал выбирать дом. Есть фотография, где они вместе по этому поводу ходят по Тарусе (она висит в Музее Паустовского в Кузьминках). С Библией получилась интересная история. У Аркадия Акимовича была старинная Библия, с пометками какого-то архимандрита. Показал ее Паустовскому. Тот: «Так хотелось бы иметь такую...» – «Берите!». Ему была свойственна такая щедрость, всегда мог подарить понравившуюся вещь – настоящий одесский размах. Но и Паустовский потом в ответ подарил такую же Библию, тоже XIX века. Однако уже без пометок архимандрита.

– Какие у него были отношения с Высшими силами? Как он смотрел на религию?

– У Аркадия Акимовича был литературный секретарь Сергей Бычков. Он в Патриархии был в близких отношениях со многими. И уговаривал Штейнберга креститься... Но он наотрез отказался, сказал, что останется в той вере, в какой родился. Хотя православие было ему близко. Читал книги святых отцов. В заключении писал иконы...

– А как Штейнберг относился к смерти?

– Он ее не боялся. Стихи Штейнберга – для сильных людей. Они трудны. Некоторые предпочитают друга его молодости Арсения Тарковского. Но у того главная мысль – о смерти, боязнь смерти, чего Аркадий Акимович не приветствовал. Как он писал в поэме «К верховьям»:

Она ни в чем не виновата
И ни полушки не должна:
Одна-единственная плата
За жизнь – всегда сама она

В иудаистской религии, когда руах (душа) отлетает, все остальное – всего лишь глина. У Штейнберга было удивительное мироощущение. Идея, что он общается с поэтами, писателями, творцами других времен и стран, чувствует глубокие корни, уводящие

его в исторические времена. Вот стоим мы с ним на берегу. Через речку – дерево. И он говорит: «Я чувствую свою руку как часть этого дерева». Ему очень близки были такие люди, как Альберт Швейцер (говорили, что он и внешне похож на него), Махатма Ганди. Очень почитал их.

– А кто из творцов прошлого, классиков был ему близок?

– Особое чувство единения – с Бахом. Сам играл его на фисгармонии (купленной на гонорар от «Потерянного рая»). Мы могли много часов подряд слушать пластинки с музыкой Баха... Тонко чувствовал, понимал немецких живописцев, голландцев – особенно пейзаж. И, как в музыке Бах, так в живописи – Рембрандт. Аркадий Акимович считал его непревзойденной вершиной европейской живописи. Главной идеей Штейнберга-художника было показать, как исчезает человечность в современной жизни. Он часто говорил: «То, что вечно, – человечно!». А Рембрандт это в высшей степени, в живом виде – человечность.

– Штейнберг – большой художник, большой поэт. Остались картины, литературный архив. Трудно ли их разбирать?

– В юности у Аркадия Акимовича был крупный почерк. Но в лагерях, как известно, бумага мало, надо ее ценить. И тогда у него выработался очень мелкий почерк. Когда он ушел, и начали разбирать архивы, его ученик, писатель и переводчик Евгений Витковский с большим трудом расшифровывал эти записи. Даже подпортил себе зрение. (Это тоже в чем-то подвиг.) Мы делаем многое, чтобы память об Аркадии Штейнберге жила. Публикуем книги (ведь при жизни с нашей цензурой у такого поэта не вышло ни одной книги!), воспоминания о нем, организуем выставки картин. Мой нынешний муж Алексей Владимирович Егоров так полюбил поэзию и живопись Аркадия Акимовича, что для того чтобы квалифицированно работать с его наследием, окончил Институт истории культур по специальности «культуролог».

– И все-таки как-то обидно, что такой выдающийся поэт и художник, человек с таким ярким одесским началом, уехав из Одессы, в нее больше не вернулся...

– У Аркадия Акимовича всегда было много друзей, знакомых. За год до смерти у нас появился один человек из Одессы. Не поэт, не художник, просто хороший приятель, поклонник. Сказал:

«У меня там дом с виноградником. Приезжайте в гости!». Аркадий Акимович ответил: «Да-да, надо поехать». Но не успел, умер. Однако все равно Аркадий Акимович Штейнберг обязательно должен вернуться в родной город – своими стихами и переводами, своими картинами.

Интервью Олега Кудрина

Афоризмы, эпиграммы Штейнберга, байки от него, истории о нем

По воспоминаниям друзей и близких

В семействе Штейнбергов было предание, что их предок входил в число трехсот евреев, «способных к негоции», переселенных в Одессу для развития города еще Екатериной Великой.

В 1929 году Аркадий приехал в Коктебель к Волошину с девушкой. И рассказал, что она невероятно талантливая, любимая ученица Айседоры Дункан, оставившая далеко позади свою великую учительницу. Танцы, придуманные и исполненные девушкой, феерически прекрасны, их не описать – надо видеть!

Волошин, часто бывавший на выступлениях Дункан, предложил устроить концерт. Был разостлан ковер, сделано освещение. Подобран хороший ансамбль из гостей музыкантов. И!.. И тут выяснилось, что девушка совсем не умеет танцевать. Осталось неизвестным, то ли она была такой хвастунишкой, то ли Аркадий так поэтически расфантажировался, узнав, что любимая ходила в Школу Дункан.

Да, Штейнберг был влюбчив. Однажды в 30-е годы в квартире у некой прекрасной дамы он схлестнулся в споре с сильным соперником – известным спортсменом. Перепить друг друга никому из них не удалось. Тогда коварный Аркадий предложил выкурить сигару. А он сам предпочитал весьма крепкий табак. После нескольких хороших затяжек спортсмен заблевал весь балкон

и под сочувствующие охи покинул поле битвы.

Аркадия уводили во время первого ареста, еще до войны. Опечаленная мать сказала в изумлении: «Кажется, тебе это интересно?». Он ответил: «Да, очень!».

И позже, когда после двух отсидок и 11 лет лагерей его спрашивали: «Как вам удалось выжить?» – он отвечал: «Мне было интересно».

Как-то Борис Леонидович Пастернак высказал Штейнбергу самые искренние похвалы за переводы Радуле Стийенского. Дальше слова Штейнберга:

«Пастернак был любезный и такой красивый. Я так восхищался его поэтическим даром. И вот ляпнул в ответ: «Не всем же партия и правительство доверяют переводить Шекспира!». До сих пор не могу понять, какая муха меня тогда укусила. За секунду до этого ничего такого у меня в башке не было. Жлоб – одним словом!». Но судя по лукавой улыбке, Аркадий Акимович не очень-то сожалел о такой несдержанности.

Штейнберг рассказывал о том, как видел Цветаеву в коридоре у кассы Гослита в «выплатной день». Бессильно прислонившись к стене, стояла седая женщина в стоптанных туфлях, почти старуха, безучастная ко всему окружающему... Он на секунду отвел глаза в сторону. А когда снова повернулся, то увидел иное: красавица с гордо поднятой головой, сияя взглядом, буквально летела кому-то навстречу в страстном порыве...

Не менее важен в этой истории произнесенный будничным тоном финал: «По коридору шел Арсик Тарковский».



Штейнберг сказал о Тарковском, с которым он близко дружил: «Мы с Арсиком как поэты взаимно перпендикулярны».

До войны у Штейнберга и Тарковского случилась большая ссора после фразы Арсения Александровича, что он левой ногой переводил Радуле Стийенского (югославский коммунист, посредственный автор, которого переводы Штейнберга и Тарковского сделали большим поэтом).

И вот во время войны майор Штейнберг оказался с Москве с краткосрочным отпуском. Узнав, что Тарковский тяжело ранен и пришлось отнять ногу, он бросился в госпиталь. Войдя в палату, спросил с порога: «Арсик, какая нога?» – «Правая». – «Ну, слава богу, переводить сможешь...»

Аркадий Акимович любил задавать загадку: какое из сочинений Тарковского самое «всенародно любимое»? И когда все терялись в догадках, открывал секрет: написанные в 42-м году слова популярной тогда песни «Застольная»: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина. Выпьем и снова нальем».

Потом, любуясь произведенным эффектом, рассказывал о судьбе своей тогда также популярной песни «Дон мой, Кубань моя». После второго ареста авторство слов в ней начали приписывать главному редактору «Огонька» Анатолию Софронову. А когда выяснилось, что подлинный автор жив, то, учитывая фамилию, в сборниках писали – «Слова народные». Переводчик «Потерянного рая» отреагировал экспромтом:

Что может собственных Мильтонов
И быстрых разумом Софронов...

Сын Аркадия Акимовича, знаменитый художник «лианозовской группы» Эдуард Штейнберг как-то заметил, что в его отце «была смесь Дон Кихота и Остапа Бендера».

Товарищ Бендер до Румынии не добрался. Зато специалист по агитационной работе майор Штейнберг в 1944 году жил и действовал там с большим размахом. Разместился со своей группой в великокняжеском особняке. Носил невиданный белый лайковый мундир, пошитый по собственному эскизу. Штейнберг сумел

расположить к себе молодого короля Михая и часто обращался к нему напрямую. Когда ему понадобилось хорошее радио, принимающее на всех частотах, он позвонил королю и попросил помочь.

– Видели бы вы, – рассказывал он потом друзьям, – как два румынских генерала, сгибаясь в поклонах, вносили радиоприемник в мою резиденцию.

После второго ареста, произошедшего в Румынии по доносу местных коммунистов, Штейнберг оказался в Черновицкой переполненной камере 40-50 заключенных, затаив дыхание, слушали блатного вида паренька, который рассказывал увлекательную историю, по-фене – «тискал рóман». Это был мастер своего дела, он не просто размахивал руками, но и подпрыгивал, вертелся волчком. Голос – то фальцет, то трагический шепот, то гром. Подойдя поближе, Штейнберг услышал рассказ. «Он, бля», «Она, бля». «Ну и по...л». Поэт, переводчик, знаток литературы, к своему стыду, долго не мог разгадать сюжет. Пока не дошло до финала. Рассказчик, рубанув воздух рукой, обреченно рявкнул: «И, бля, под поезд! И под поезд!».

У Аркадия Штейнберга почти нет любовной лирики. Исключение – обжигающий лирический цикл в лагерных стихах 1947-48 года. Его избранницей стала женщина из украинского подполья ОУН-УПА:

Жена ли ты, любовница, подруга ль,
Не уловлю я, не пойму, –
Но жжет меня, как раскаленный уголь,
Тоска по сердцу твоему.
Звездой последней утреннего неба,
Залогом будущего дня,
Глотком воды, куском насущным хлеба
Ты стала нынче для меня.

Последнее же стихотворение цикла не завершено. Бумага исчеркана, измучена, как сердце поэта, навсегда расстающегося с любимой. Остались лишь две строчки:

Тебя увезут в товарном вагоне,
Бог весть куда, за край небосклона...

В 1970-м в ресторане ЦДЛ умер, поперхнувшись бутербродом, советский поэт Сергей Дрофенко. Говорят, присутствовавшие при том медики Арканов и Горин растерялись, решив, что это инфаркт. Узнав об этом, Штейнберг, бывший лагерный медик, расстроился, ведь человека можно было спасти с помощью ножа, стерилизованного водкой. Он рассказал, как сам вытащил с того света ээка, поперхнувшегося у костра, – сунул в огонь лезвие перочинного ножа и быстро сделал надрез трахеи. Пациент выжил и даже дожил до освобождения.

Акимыч не любил жалоб на судьбу, говорил: «Что лучше: десять лет в тюрьме просидеть или чтобы ботинки десять лет жали?».

Как-то Аркадий Штейнберг и Александр Ревич шумно спорили о достоинствах и недостатках лагерей – советских и немецких. Сошлись на том, что наши получше. У немцев хоть и порядок, но «машина», а у нас, с одной стороны, беспредел, зато с другой – самодеятельность.

В один день с Пастернаком умер известный историк-востоковед и переводчик классической литературы Евгений Львович Штейнберг. В нервной обстановке случилась путаница. И в литературных кругах пошел слух, что умер Аркадий Штейнберг. Каково же было Аркадию Акимовичу посреди ночи отвечать на вопросы: «Ты жив?», «Как ты себя чувствуешь?».

Аркадий Акимович сохранял одесское пристрастие к яркой одежде, шутя, признавался, что горюет без апельсиновых штиблет. А однажды купил башмаки немислимого цвета и фасона – оказалось, что это наинейшие лыжные ботинки.

Штейнберг потрясающе умел торговаться. Еще на подходе к барыге в его походке появлялась некая расслабленная важ-

ность, а на лице проступало выражение лица «старого сидельца» – печать зэка, которую невозможно вытравить. Торговался коротко и жестко, сбив цену до нижнего предела, говорил продавцу: «Идет!». Доставал деньги, внимательно отсчитывал и вдруг добавлял возмущенно, с укоризной: «Нет, так не пойдет! Оставишь мне хотя бы на бутылку, а?..». И цена падала ниже нижней планки.

У Аркадия и Наташи Штейнберг был ньюфаундленд Фома, сын Кузьмы – собаки Вишневской и Ростроповича. Фома Кузьмич вырос в большого доброго пса. Он никак не желал осваивать в питомнике собачью науку. Когда на Фому демонстративно напал здоровенный малый в защитном ватном скафандре, пес бросался на него и... с радостным лаем облизывал ему голову. Когда кто-то из друзей заметил, что, наверное, собака умственно отсталая, Аркадий Акимович возразил:

– Наоборот, это умнейший пес. Фома прекрасно понимает, что с ним играют. У него хорошее чувство юмора!

Штейнберг и сам с юмором рассказывал о генеалогическом древе своего пса:

– Когда Ростропович приехал в Лондон, журналисты написали в газетах: «С ним был большой пес неизвестной породы». Конфуз! У Ростроповича все бумаги на руках о безупречной родословной пса. Но англичан насчет собак не проведешь...

Дочка знакомых Аркадия Акимовича как-то сказала, увидев белого-белого пса: «Зимняя собака!». Штейнберг был в восторге. После этого он часто называл черного Фому «Летней собакой».

Аркадий Акимович не терпел жалоб (в частности, Шенгели и Тарковского) на утомительность переводов во времена, когда у поэтов заткнуты рты: «Есть много способов заработать на жизнь, так что – или не переводи, или, коль скоро переводишь, не жалуйся, да еще – читателю».

Штейнберг очень любил повторять строчки стихов Валентина Берестова о Чуковском: «Пишите бескорыстно – / За это больше платят!».

Когда молодой коллега сказал в унынии, что его перевод в редакции отвергли, утешил его так: «Посмотрите, Сережа, это стихотворение я перевел, когда мне было 17. Теперь мне 70. И оно наконец напечатано. Помните, сделанная работа – это сделанная работа».

В пору работы над «Потерянным раем» Джона Мильтона Аркадий Акимович тесно общался с оксфордским профессором-славистом. Они заговорили о Байроне, его экстравагантной биографии, литературной репутации и невероятной популярности в России. Штейнберг сделал вывод: «Это такой английский Евтушенко девятнадцатого века». – «О! Вот оно! Так и есть!» – возопил в восторге собеседник.

В СССР, где распространение религиозной литературы было запрещено, баптисты копировали и переплетали штейнберговский перевод написанного на библейский сюжет «Потерянного рая» (тираж в 300 тысяч быстро разошелся). Для преследуемых властями советских баптистов это была настольная книга. Штейнберг бережно хранил и показывал гостям подаренный ему баптистский экземпляр «Рая».

Переведя «Потерянный рай» и получив за него большой гонорар, Штейнберг отказался переводить «Возвращенный рай».

Из общения с ним становилось понятно, почему. Потому что возвращенного рая не бывает.

«Захурдачивай в жордупту ту!» – любил повторять Акимыч строку из поэмы футуриста Каменского. «Заметьте, именно в ту, а не в эту жордупту!..» – говорил он, с наслаждением перекатывая «жордупту» на языке. Правда, потом выяснилось, что «ту» в оригинале не было. Это Штейнберг уже додумал, улучшил футуриста.

Штейнберг терпеть не мог Асеева и Лилию Брик. Как-то на концерте любимого им скрипача Исаака Стерна он не получил никакого удовольствия. И лишь после концерта, увидев Лилию Юрьевну, выходящую из консерваторского зала, понял, в чем дело.

Асар Эппель позвонил Штейнбергу, пожаловался, что устал искать для перевода эпитет из одного слога. Тот ответил: «Старик, не ищите. Такой эпитет в русском языке один – «злой»».

Как-то Штейнберг предложил другу, поэту, литературоведу Вадиму Перельмутеру написать стихотворение на заданную тему, старую как мир.

Он и она. Она любит его безоглядно, всю себя вкладывая в чувство: преодолевает препятствия, проходит испытания, пренебрегая общественным мнением. А потом вдруг выясняется, что он этого не стоит. Нужно передать длительность этой истории, обстановку деревни, вроде бунинской, в общем, создать стихотворную новеллу. «И на все это – две строчки!»

Когда собеседник, придя в замешательство, сказал, что не сможет, Штейнберг подвел итог: «Не вы один. Я тоже не могу. А безвестный автор частушки справился с задачей играючи: «Я любила, грязь топтала. Он дурак, а я не знала»».

Брежнев был однополчанином Штейнберга. И когда спустя годы тот на подходе к ЦДЛ рассказывал своим зычным голосом: «Лёня Брежнев был удивительно славным парнем, добрым, красивым. Романы заводил...» – лица милиционеров у расположенных там посольств вытягивались от изумления.

Друзья часто советовали ему как-то выйти на Брежнева. Тогда были бы и квартира, и книги, и выставки. Но Штейнберг всегда отнекивался.

После войны Штейнберг отказывался ездить на отдых в Коктебель: «*Крым без татар* для меня не существует».

Юная диссидентка Ира Каплун рассказала, что КГБ не воспрепятствовало наконец ее поступлению в институт. Штейнберг доволен: «Прекрасно! Научитесь хорошо делать какое-нибудь *дело*. Пока у вас хорошо получается только одно – сидеть».

Лимонов в гостях у Штейнберга живописует свои эпатажные выходы. Хозяин терпеливо внимает и предостерегает: «Эдич-



ка, учтите – у государства нет чувства юмора».

У Акимыча были золотые руки, он был способен ко всем ремеслам. И, как многие одеситы, – великолепный повар. Любимые блюда: баклажанная икра из «синеньких», жаркое на косточке, селедка под шубой, грибной суп. И главное – борщ, для которого специально перетиралось старое желтое сало и чеснок.

Штейнберг всегда восхищался гениальной рыболовной снастью – одесским самодуром.

Он занимал главное место в выдуманном и выпестованной Аркадием Акимовичем сюжете о Сталине, ушедшем в старости в неизвестность: «...И вот сидит он на деревянных мостках у моря и... дэрит рыбу на самодур!».

Пришвин называл себя поэтом, распятым на кресте прозы. Перефразируя его, Аркадий Акимович называл себя прозаиком на кресте поэзии.

Семен Липкин сказал о Штейнберге-художнике: «Он никогда не писал с натуры, но всегда помнил о ней».

После выставки Эдуарда Штейнберга Акимыч сказал: «Оказывается, мой сын большой художник».

Аркадий Акимович так объяснял ненужность религиозных институтов: «Для хождения к Богу мне не требуются костыли».

Когда Акимыч узнал, что его сын Борух решил перейти в православие, он тут же мгновенно отреагировал:

– Бедное православие!

Штейнберг о поэзии и переводах

«Переводить Гейне – все равно что ловить рыбу. Может, клюнет, может, нет».

«К Виктору Гюго можно пройти через парадный вход и по ковровой лестнице подняться прямо к нему в апартаменты. А есть такие поэты, к которым можно подобраться только с черного хода».

«Поэзия России – это такая армия, где ротами командуют генералы».

«Четырехстопный хорей из-за частушек и «Мойдодыра» кажется стремительным. Но этим же размером написано: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...». Это, хоть режьте, не прочтешь быстро, как «Мойдодыра».

«Бродский – это такой Фишер в поэзии. Он решил стать чемпионом мира по стихам».

«Пригов – это здорово. Но это горчица. Нельзя питаться одной горчицей».

О плохих стихах: «Поэзия тут дышит на ладан».

Эпиграммы Штейнберга

О Б.И. Соловьеве, несостоявшемся поэте, советском редакторе, помешавшем опубликовать прижизненную книгу Аркадия Акимовича:

Борис Иваныч Соловьев –
Специалист не из последних
По холощенью соловьев
И умерщвлению последних.

О критике Тарасенкове, записавшем Александра Блока в ареопаг советской поэзии:

Наш Поросенков, критик жалкий,
В писаньях душу изливал
И на певца ночной фиалки
Перевернул ночной фиал.

О Смелякове, опубликовавшем в «Литературке» антиформалистскую статью:

Пусть меня секут не либералы,
Не славянофилы из жидков,
А хороший православный малый –
Ярослав Васильич Смеляков.

О гражданине из клуба «Родина», будущего общества «Память»:

Он был обычным стукачом
И занимался делом темным.
Но стал, пронюхав, что почем,
Славянофилом погромным.

* * *

Штейнбергу нравилась формула Волошина: «Наше главное творение – мы сами». В развитие темы у него был свой афоризм: «Старость – лучшее время жизни, только к ней надо готовиться».

Публикация Олега Кудрина
Москва

